

«Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду в кровь и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо — мальчика, тем самым сотворив нечто более возвышенное, чем изделие Создателя. Ибо тот создал человека из земли, а я — из воздуха, что много труднее...»

Тут мы поняли, что он (Симон Волхв) говорил о мальчике, которого убил, а душу его взял к себе на службу.

Псевдоклементины
(II век н.э.)

Часть первая

Глава первая

«...И будь ты проклят со всем своим балаганом! Надеюсь, никогда больше тебя не увижу. Довольно, я полжизни провела за ширмой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты возникнешь передо мной...»

Возникну, возникну... Часиков через пять как раз и возникну, моя радость.

Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся: все хорошо. Все, можно сказать, превосходно, она выздоравливает...

Взглядом он обвел отсек Пражского аэропорта, где в ожидании посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный змейгорыныч за стойкой бара, с шипением изрыгая в чашки молочную пену, и вновь принялся рассматривать двоих: бабушку и внучку-егозу лет пяти.

Несмотря на предрассветное время, девочка была полна отчаянной энергии, чего не скажешь о замордованной ею бабке. Она скакала то на правой, то на левой ноге, взлетала на кресло коленками, опять соскальзывала на пол и, обежав большой круг, устремлялась к старухе с очередным воплем: «Ба! А чем самолет какает, бензином?!»

Та измученно вскрикивала:

— Номи! Номи! Иди же, посиди спокойно рядом, хотя б минутку, о-с-с-с-поди!

Наконец старуха сомлела. Глаза ее затуманились, голова медленно отвалилась на спинку кресла, подбородок безвольно и мягко опустился, рот поехал в зевке да так и застопорился. Едва слышно, потом все громче в нем запузырился клекот.

Девочка остановилась против бабки. Минуты две неподвижно хищно следила за развитием увертюры: по мере того как голова старухи запрокидывалась все дальше, рот открывался все шире, в контрапункте храпа заплескались подголоски, трели, форшлаги, и вскоре торжествующий этот хорал, даже в ровном гуле аэропорта, обрел поистине полифоническую мощь.

Пружиня и пришаркивая, девочка подкралась ближе, ближе... взобралась на соседнее сиденье и, навалившись животом на ручку кресла, медленно приблизила лицо к источнику храпа. Ее остренькая безжалостная мордашка излучала исследовательский интерес. Заглянув бабке прямо в открытый рот, она застыла в благоговейно-отчужденном ужасе: так дикарь заглядывает в жерло рокочущего вулкана...

— Но-ми-и-и! Не беззобраззз... Броссссь ш-ш-ш-алить-сссссь... Дай бабуш-шшш-ке сссс-покойно похрапеть-сссссь...

Девочка отпрянула. Голос — шипящий свист — раздавался не из бабкиного рта, а откуда-то... Она в панике оглянулась. За ее спиной сидел странный дяденька, похожий на индейца: впалые щеки, орлиный нос, вытянутый подбородок, косичка на воротнике куртки. Самыми странными были глаза: цвета густого тумана. Плотно сжав тонкие губы, он с отсутствующим видом изучал табло над стойкой, машинально постукивая пальцами левой руки по ручке кресла. А там, где должна была быть его правая рука... — ужас!!! — шевелилась, извивалась и поднималась на хвосте змея!

И она шипела человеческим голосом!!!

Змея медленно выростала из правого, засученного по локоть рукава его куртки, покачивая плоской головой, мигая глазом и выбрасывая жало...

«Он сделал ее из руки!» — поняла девочка, взвизгнула, подпрыгнула и окаменела, не сводя глаз с этой резиново-гибкой, бескостной руки... В окошке, свернутом из указательного и большого пальцев, трепетал мизинец, становясь то моргающим глазом, то мелькающим жалом. А главное, змея говорила сама, сама — дядька молчал, чесслово, молчал! — и рот у него был сжат, как у сурового индейца из американских фильмов.

— Ищо! — хрипло приказала девочка, не сводя глаз со змеи.

Тогда змея опала, стяхнулась с руки, раскрылась большая ладонь с длинными пальцами, мгновенно и неуловимо сложившись в кролика.

— Номи, задира! — пропищал кролик, шевеля ушами и прыгая по острому колену перекинутой дядькиной ноги. — Ты не одна умеешь так скакать!

На этот раз девочка впиалась глазами в сжатый рот индейца. Плевать на кролика, но откуда голос идет? Разве так бывает?!

— Ищо! — умоляюще вскрикнула она.

10 Дядька сбросил кролика под сиденье кресла, раскатал рукав куртки и проговорил нормальным глуховатым голосом:

— Хорош... будь с тебя. Вон уже рейс объявили, растолкай бабу.

И пока пассажиры протискивались мимо бело-синих приталенных стюардесс, запихивали сумки в багажные ящики и пристегивали ремни в своих креслах, девочка все тянула шею, пытаясь глазами отыскать чудного индейца с косичкой и такой восхитительной волшебной рукой, умеющей говорить на разные голоса...

А он уселся у окна, завернулся в тонкий плед и мгновенно уснул, еще до того, как самолет разогнался и взмыл, — он всегда засыпал в полете. Эпизод со змеей и кроликом был всего лишь возможностью проверить на свежем зрителе некую идею.

Он никогда не заискивал перед детьми и вообще мало обращал на них внимания. В своей жизни он любил только одного ребенка — ту, уже взрослую девочку, что выздоравливала сейчас в иерусалимской клинике. Именно в состоянии начальной ремиссии она имела обыкновение строчить ему гневные *окончательные* письма.

* * *

Привычно минуя гулкую толкотню зала прибытия, он выбрался наружу, в царство шершавого белого камня, все обнявшего — все, кроме разве что неба, вокруг обставшего: стены, ступени, тротуары, бордюры вокруг волосато-лакированных стволов могучих пальм — в шумливую теплынь приморской полосы.

Всегда неожиданным — особенно после сирых европейских небес — был именно этот горячий свет, эти синие ломти спящего неба меж бетонными перекрытиями огромного нового терминала.

Водитель первой из вереницы маршруток на Иерусалим что-то крикнул ему, кивнув туда, где, оттопырив фалды задних дверей, стоял белый мини-автобус в ожидании багажа пассажиров. Но он лишь молча поднял ладонь: не сейчас, друг.

Выйдя на открытое пространство, откуда просматривались хвосты самолетов, гривки взъерошенных пальм и дельфиньи взмывы автострад, он достал из кармана куртки мобильный телефон, футляр с очками и клочок важнейшей бумаги. Нацепив на орлиный нос круглую металлическую оправу, что сразу придало его облику нарочитое сходство с каким-то кукольным персонажем, он ребром ногтя натыкал на клавиатуре номер с бумажки и замер с припаянным к уху мобильником, хищно вытянув подбородок, устремив бледно-серые, неизвестно кого и о чем умоляющие глаза в неразличимую отсюда инстанцию...

...где возникли и томительно поплыли гудки...

Теперь надо внимательно читать записанные русскими буквами смешные слова, не споткнуться бы. Ага: вот кудрявый женский голосок, служебное сочетание безразличия с предупредительностью.

— *Бокер тов!* — старательно прочитал он по бумажке, щурясь. — *Левакеш доктор Горелик, бвакаша!*...

Голос приветливо обронил картавое словцо и отпал. Ну и язык: *бок в каше, рыгал Кеша, ква-ква...*

Что ж он там телепается-то, господи!.. Наконец трубку взяли.

— Борька, я тут... — глухо проговорил он: мобильник у виска, локоть отставлен — банкрот в ожидании

1 Доброе утро! Попросить доктора Горелика, пожалуйста (*иврит*).

12 последней вести, после которой спускают курок. И — горло захлестнуло, закашлялся...

Тот молчал, выжидая. Ну да, недоволен доктор Горелик, недоволен. И предупреждал... А иди ты к черту!

— Рановато, — буркнул знакомый до печенок голос.

— Не могу больше, — отозвался он. — Нет сил.

Оба умолкли. Доктор вздохнул и повторил, словно бы размышляя:

— Ранова-а-то... — и спохватился: — Ладно. Чего уж сейчас-то... Поезжай ко мне, ключ — где обычно. Пошуруй насчет жратвы, а я вернусь ближе к вечеру, и мы все обмозгу..

— Нет! — раздраженно перебил тот. — Я сейчас же еду за ней!

Сердце спотыкалось каждые два-три шага, словно бы нащупывая, куда ступить, и тяжело, с оттяжкой било в оба виска.

— Подготовь ее к выписке, пожалуйста.

...Маршрутка на крутом повороте слегка накренилась, на две-три секунды пугающе замешкалась над кипарисовыми пиками лесистого ущелья и стала взбираться все выше, в Иерусалимские горы. День сегодня выходил мглисто-солнечным, голубым, акварельным. На дальних холмах разлилось кисельное опаловое озеро, в беспокойном движении которого то обнажался каскад черепичных крыш, то, бликуя окнами, выныривала кукольно-белая группка домов на хвойном темени горы, то разверзалась меж двух туманных склонов извилисто-синяя рана глубокой долины, торопливо затагиваясь таким же длинным жемчужным облаком...

Как обычно, это напомнило ему сахалинские сопки, в окружении которых притулился на берегу Татар-

ского пролива его родной городок Томари, Томариора по-японски. 13

*Так он назвал одну из лучших своих тростевых кукол — **Томариора**: нежное бледное лицо, плавный жест, слишком длинные по отношению к маске, тонкие пальцы и фантастическая подвижность узких черных глаз — за счет игры света при скупых поворотах головы. Хороший номер: розовый дым лепестков облетающей сакуры; изящество и завершенность пластической мысли...*

Вдруг он подумал: вероятно, в этих горах, с их божественной игрой ближних и дальних планов, с их обетованием вечного света, никогда не прискучит жить. Видит ли *она* эти горы из окна своей палаты, или окно выходит на здешнюю белокаменную стену, в какой-нибудь кошачий двор с мусорными баками?..

От автобусной станции он взял такси, также старательно зачитав водителю адрес по бумажке. Никак не мог запомнить ни слова из этого махристого и шершавого и одновременно петлей скользящего языка, хотя Борька уверял, что язык простой, математически логичный. Впрочем, он вообще был не способен к языкам, а те фразы на псевдоиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представлений, были результатом таинственной утробной способности, которую *она* считала *бесовской*.

На проходной пропустили немедленно, лишь только он буркнул имя Бориса, — видимо, тот распорядился.

14 Потом переживал в коридоре, увешанном пенистыми водопадами и росистыми склонами, на которых произрастали положительные эмоции в виде желто-лиловых ирисов, бурный разговор за дверью кабинета. Внутри, похоже, отчаянно ругались на повышенных тонах, но, когда дверь распахнулась, оттуда вывалились двое в халатах, с улыбками на бородатых разбойничьих лицах. Он опять подумал: ну и ну, вот язык, вот децибелы...

— Я думал, тут драка ... — сказал он, входя в кабинет.

— Да нет, — отозвался блаженно-заплаканный доктор Горелик, поднимаясь из кресла во весь свой кавалергардский рост. — Тут Давид смешную историю рассказывал...

Он опять всхлипнул от смеха, взметнув свои роскошные чернобурковые брови и отирая огромными ладонями слезы на усах. В детстве у смешливого Борьки от хохота просто текло из глаз и носа, как при сильной простуде, и бабушка специально вкладывала в карман его школьной курточки не один, а два наглаженных платка.

— Они с женой вчера вернулись из отпуска, в Ницце отдыхали. Ну, в субботу вышли пройтись по бульвару... Люди религиозные, субботу блюдут строго: выходя из дому, вынимают из карманов деньги и все мирское, дабы не осквернить святость дня. Гуляли себе по верхней Ницце — благодать, тишина, богатые особняки. Потом — черт дернул — спустились вниз, на Английскую набережную... — И снова доктор зашелся нежным голубиным смехом, и опять слеза покатилась к усам. Он достал платок из кармана халата, протрубил великолепную руладу, дирижируя бровями.

— Ох, прости, Петька, тебе не до этого... но жутко смешно! Короче: там то ли демонстрация, то ли карна-

вал — что-то кипучее. Какие-то полуголые люди в желтых и синих париках, машины с разноцветными флажками. Толпа, музыка, вопли... Минут через пять только доперли, что это гей-парад. И тут с крыши какой-то машины спрыгивает дикое существо неизвестного пола, бросается к Давиду и сует ему что-то в руку. Когда тот очнулся и глянул — оказалось, презерватив...

Большое веснушчатое лицо доктора расплылось в извиняющейся улыбке:

— Это дико смешно, понимаешь: святая суббота... и возвышенный Давид с презервативом в руке.

— Да. Смешно... — Тот криво усмехнулся, глядя куда-то в окно, где из будки охранника по пояс высунулся черно-глянцевый парень в оранжевой кепке, пластикой разговорчивых рук похожий на куклу Балтасара, последнего из тройки рождественских волхвов, тоже — черного и в оранжевой чалме. Он *водил* его в театре «Ангелы и куклы» в первые месяцы жизни в Праге.

Волхв-охранник возбужденно переговаривался с водителем легковушки за решетчатыми воротами, и невозможно опять-таки было понять — ругаются они или просто обмениваются новостями.

— Ты распорядился? Ее сейчас приведут?

Борис вздохнул и сказал:

— Сядь, зануда... Можешь ты присесть на пять минут?

Когда тот послушно и неловко примостился боком на широкий кожаный борт массивного кресла, Борис зашел ему за спину, обхватил ручищами жесткие плечи и принялся месить их, разминать, приговаривая:

— Сиди... сиди! Зажатый весь, не мышцы, а гаечный ключ. Сам давно психом стал... Примчался, гад, кто тебя звал? Я тебя предупреждал, а? Я доктор или кто? Сиди, не дергайся! Вот вызову полицию, скажу —

16 в моем же кабинете на меня маньяк напал, законную мою супругу увозит...

— Но ты правда распорядился? — беспокойно спросил тот, оглядываясь через плечо.

Доктор Горелик обошел стол, сел в свое кресло. С минуту молча без улыбки смотрел на друга.

— Петруша... — наконец проговорил он мягко (и в этот момент ужасно напомнил даже не отца своего, на которого был чрезвычайно похож, а бабушку Веру Леопольдовну, великого гинеколога, легенду роддома на улице Щорса в городе Львове. Та тоже основательно усаживалась, когда приступала к «толковой беседе» с внуком. В этом что-то от ее профессии было: словно вот сейчас, с минуты на минуту покажется головка ребенка, и только от врача зависит, каким образом та появится на свет божий — естественным путем или щипцами придется тащить). — Ну что ты, что? В первый раз, что ли? Все ж идет хорошо, она так уверенно выходит из обострения...

— Знаю! — перебил тот и передернул плечами. — Уже получил от нее три письма, все — проклинающие.

— Ну, видишь. Еще каких-нибудь три, ну, четыре недели... Понимаю, ты до ручки дошел, но сам вспомни: последняя ее ремиссия длилась года два, верно? Срок приличный...

— Слушай, — нетерпеливо произнес тот, хмурясь и явно перемогаясь, как в болезни. — Пусть уже ее приведут, а? У нас днем рейс в Эйлат, я снял на две ночи номер в «Голден-бич».

— Ишь ты! — одобрение бровями, чуть озадаченное: — «Голден бич». Ни больше ни меньше!

— Там сезонные скидки...

— Ну, а дальше что? Прага?

— Нет, Самара... — И заторопился: — Понимаешь, тетка у нас померла. Единственная ее родственница, се-